

В. СЕРЕБРЯНЫЙ

ТИШИНА НАД ПРОХОРОВКОЙ

ОЧЕРК

И снова, как будто воочью,
Услышу, как трубы трубят,
Увижу за черною ночью
В бессмертье идущих ребят...

М. Борисов.

В сборнике «Боевая слава Алтая» («Герои Советского Союза — наши земляки») Михаилу Федоровичу Борисову посвящена одна страничка. Короткие, деловые фразы:

«Родился Михаил Федорович Борисов в городе Камне-на-Оби... Комсорг артиллерийского дивизиона...»

11 июля 1943 года в сражении на Орловско-Курской дуге М. Ф. Борисов совершил героический подвиг...»

А на портрете на чутьчку грубоватом лице — задумчивые глаза, добрый мечтательный рот с застывшей на нем мягкой улыбкой...

И в жизни, несмотря на прошедшие годы, Михаил Федорович подкупает юношеской мягкой общительностью, простотой, открытостью — и в то же время чувствуешь в нем внутреннюю пружинку, твердость каких-то не произнесенных вслух правил...

Его чаще всего спрашивают про бой, за который ему присвоили звание Героя. Но разве может человек жить только для одного эпизода? И разве в любом эпизоде нашей жизни не присутствует все, что было с нами до этого!

До войны каменский парнишка Миша Борисов видел свое будущее не очень определенным, но очень значительным. Например, он любил литературу — и иногда ему казалось, что он станет великим поэтом. Но строчки, которые тогда складывались у него, Миша никому не показывал. Иногда — из-за того, что эти строчки казались ему слишком похожими на пермонтовские, иногда же замечал слишком существенное различие...

Любил Миша и астрономию. У него перехватывало дыхание, когда каким-нибудь поздним январским вечером он вглядывался в небо. В черно-фиолетовой бездне ярко пылали зовущие огни далеких миров, и воображение рисовало ему космос уже в окошке звездного корабля... Что удивляться — Жюль Верн и Герберт Уэллс были его любимыми писателями, а про Циолковского даже в школе проходили. Почему бы Мише не оказаться первым, кого встретят аплодисментами далекие марсиане?

Но звездные перелеты виделись как дело неопределенно далекого будущего. Пока что даже колючие шары перекати-поля вызывали у Миши зависть и волновали его дальностью пройденных ими путей. Самому же ему пока оставалось сидеть за учебниками, а в свободное время до изнеможения барахтаться в могучей прохладной Оби, дышать полынными ветрами, шагать по степи, из которой какая-то неистощимая сила рвалась ввысь серебристыми фонтанчиками ковыляя...

Как всякий порядочный сибиряк, Миша хорошо стрелял. И в тире, где сдавал нормы на «Ворошиловского стрелка», и на охоте. Впрочем, здесь у него мальчишечье спортивное самолюбие вступало в конфликт с другими чувствами, в которых он избегал глубоко разбираться, но которые делали для него невыносимым вид добытой им зайчатки на обеденном столе. Он стыдился признаться себе, что просто жалеет зайца...

И вдруг — война!

Через четверть века Михаил Федорович напишет:

За горы, за синие доли,

За светлый,

как сон,

горизонт

Мальчишки из каменной школы

Сегодня уходят на фронт.

Прощальная речь военкома —

И вот,

прямоком на закат

Под грузом домашних котомок

Идет комсомольский отряд.

Зовет золотая отава

В багрец за примолкшим селом,

И кажется —

близкая слава

Уже осеняет крылом.

И каждому верится свято —

Пройдет, как в апреле шуга,

И будет разбита и смята

Несметная сила врага!

Но не так это оказалось просто, как мечталось: ура, ура — и наша взяла.

На фронт Михаил пришел артиллеристом-наводчиком. И в первый же день, едва начали окапываться на выбранной огневой позиции, небо зашуршало от вражеских снарядов. Где-то грохнули первые разрывы. Потом завывало, засвистело, загрохотало все вокруг. Они лежали в открытой степи, как на тарелке, как на сковороде! Михаил понимал, что спасение только в том, чтобы лежать вот так, прижавшись всем телом к горячей пыльной стерне. Он уже почти убедил себя, что услышанные снаряды и осколки не опасны. Но куда было деваться от нарастающего надрывного свиста бомб! Уж они-то все метили в него! И этот железный град не прекращался — вместо отбомбившихся самолетов над черной от дыма степью появлялись все новые и новые...

В горячих выверках огней
Корежится земля,
И с каждым мигом все тесней
Сжимается петля.
А у меня ни блиндажа
И ни окопа нет...
Лежат бок о бок,
Не дыша,
Мои семнадцать лет...

Страшна была даже не смерть. Страшным было унижение. Это было невыносимо унижительно — лежать и ждать: пронесет или попадет? Михаил не помнил, как рывком поднялся с земли, шагнул на полотно дороги — и стал в черной пыли, широко расставив ноги и крепко прижав к груди панорамный прицел от своей пушчонки. Но глаза он все-таки закрыл, потому что нельзя неподвижно стоящему человеку видеть такое вокруг себя...

Он не помнил, сколько стоял так. Не помнил, как утомленно поплелся к своему едва намеченному окопчику, как устало прилег на черную землю и как тут же, мгновенно, словно отключившись от адского шума и грохота, крепко уснул...

Никогда больше он так себя не забывал. Даже когда в составе десанта морской пехоты грювел, если разобраться, гораздо более страшный день в своей жизни. Это было уже в Крыму. Михаил тогда в первый раз высадился на Керченском полуострове. В автомате уже не оставалось ни одного патрона, и немецкий летчик, видимо, понял это. Он проносился так низко, что Михаил видел его совсем молодое, искаженное злорадной усмешкой лицо за прозрачным козырьком самолета. Наверное, у фашиста патроны тоже были на исходе: он стрелял короткими очередями. Миша уходил от пуль за уцелевший обломок камен-

ной стены. Когда самолет заходил с другой стороны, Миша переходил на старое место. Последняя очередь была совсем короткой. Фашист не смеялся уже, а погрозил ему, пролетая мимо, кулаком...

Не заветные дали,
Не лихие походы —
Нас, друзья, побратали
Фронтовые невзгоды.
Леденили пожары,
Обжигали метели,
Да все больше Стожары
В хмуром небе бледнели,
Да росли у обочин
Полевые могилы...

До Курской дуги Михаилу приходилось воевать, главным образом, в сорокапятимиллиметровой артиллерии. Сейчас на параде таких орудий не увидишь. А тогда они всегда были на переднем крае, вместе с пехотой. Били, били без усталости по фашистам, и частенько фашистские танки били по ним. За год рядом с Михаилом сменилось пять орудийных расчетов. А его как-то обходили и пули, и осколки, и гусеницы танков... Везло? Да, и везло, конечно. Но ведь и умение кое-чего стоит, привычка к трудным условиям боя, навыки, которые не передаются словами, а наживаются каждым самостоятельно. И тогда можно на переднем крае внешне почти спокойно выжидать у орудия, когда враг, шеренга за шеренгой, подступает к тебе в психической атаке, а потом вести огонь так быстро и точно, что ни один атакующий не успеет добежать до твоих позиций, а дуло пушки станет вишнево-красным от трещащих о него снарядов...

И вот — Курская дуга.

Несколько лет назад Михаил Федорович по случаю юбилея великой битвы поехал в эти места с бригадой московских телевизионщиков. У него было такое чувство, будто стоит ему туда вернуться — и поднимутся, оживут все те, кто когда-то сражался рядом с ним, но остался спать вечным сном на густо перемешанной с железом земле Курщины. А кинокамеры сделают их живыми уже для всех и навсегда...

Кинооператора привлекла мирная картина пахоты на земле, на которой двадцать лет назад гремела неслыханная в истории битва. И вдруг под стрекотание киноаппарата и ровный рокот трактора плуг выворотил из земли ржавую немецкую неразорвавшуюся мину. Михаил Федорович, обрадовавшись этому нежданному наглядному пособию по истории, ухватил мину за стабилизатор и приподнял, чтобы оператору удобнее было ее снимать. Он даже не успел подумать, чем это грозит. Тракторист громко предупредил:

— Осторожнее! Бывает — взрываются!..

Михаил Федорович оживленно рассказывал, что и как тут было в сорок третьем. Показал, как надо поставить пушки, как они тогда стояли. Нараставшее откуда-то из глубины души волнение он старался заглушить движением, разговором.

А потом остался один на один с плакучими ивами, которых так много сейчас в парке Курской дуги. Он не мог бы рассказать, что пережил в эти часы, что передумал. Только после этого давняя и до той поры бесплодная страсть его к стихосложению обрела вдруг достойную цель и смысл в утверждении чего-то большого и важного. Именно здесь зарождались — еще помимо его сознания — строки, которые он потом напишет и осмелится, наконец, показать людям:

Над Прохоровкой бродит
синева —

Прозрачная,
Дрожащая,
Густая.
А к ней спокойно тянется трава,
Сквозь боль мою бездумно прорастая...

Какая сочная, какая высокая, какая зеленая трава! Какая тишина! Даже пение жаворонка в высоком чистом небе словно песня тишины, образ тишины, материализованная тишина!

Это было как невысказанный праздник... И как пустота... Никогда так остро не чувствовал Михаил необратимости времени. Никогда так остро не ощущал отсутствия среди живых тех, к кому он сюда пришел. Но никогда не был и так близок к ним. Будто рвалась та полупрозрачная пленка, которая отделяла прошлое от настоящего. И пережитое воскресало и для него — и теперь уже и для других.

Но только не я там,
А кто-то —
Похожий,
И все же другой.
Вст ночью,
Присев у окопа,
Он слушает, горечью сыт,
Как стонет,
Как плачет Европа,
По-бабьи открыто,
Навзрыд.
А вот он,
Используя роздых,
Баском от волнения глухим
Читает солдатам о звездах...

Он был тогда комсоргом противотанкового артиллерийского дивизиона. Атака немецких танков застала его в третьей батарее, которой командовал старший лейтенант Ажиппо.

Клубится пыль из-под копыт
Чудовищ броневых.
За «тигром» «тигр» —
Аж гул стоит!
Да сколько ж это их?!

Их было вполне достаточно — сто пятьдесят танков против дивизиона. Танки, сопровождаемые мотопехотой, пытались прорваться к станции Прохоровка.

— Огоны!
— Огоны!
И пушки враз
Хватили так огнем,
Что даже свет дневной погас
И пал за околом.
— А ну, Петров, прицел проверь
Да прямо в дых лупи!
И вот горит крестастый зверь
На выжженной степи.
— Точней, Ходжаев, наводи.
Не мажь, не мажь, Ахмет!
Молчит Ахмет.
А на груди
Осколка рваный след.

Михаил тогда среди смертельного шквала огня и металла, задыхаясь вместе со всеми от терпкого запаха гари,

То им снаряды подносил,
То бинтовал им раны;
И две газеты — не успел! —
Торчали из кармана...

А танки продолжали бить по батарее. И скоро из четырех орудий стрелять могло только одно. Но стрелять было некому. Около пушки, покореженной осколками, лежали недвижные тела артиллеристов.

Заряжающий, старший сержант Спендиаров, истекал кровью. Он хотел что-то сказать, но раненая челюсть не слушалась, получалось «сопа, сопа». Михаил понял: Софа! Это было имя любимой старшего сержанта...

Впереди, под углом к орудию, держа курс прямо на станцию, шли добрых два десятка танков. Шли открыто, уверенно. У немцев были все основания полагать, что здесь уже не осталось никого в живых.

Михаил задыхался от ярости, но он оставался один и, чувствуя, что все дальнейшее будет зависеть теперь только от него, стал наливаясь холодным покоем. Главное — ни одного неточного движения! Левая ладонь уверенно подхватила жесткое тело бронебойного снаряда, правая почти ласково скользнула по латунной гильзе. Мягко защелкнулся клиновой замок орудия. Глаз привычно принял к теплomu окуляру прицела, руки будто сами завертели маховички, поворачивая ствол так, чтобы перекрестие прицела немного опередило движущийся головной танк.

Орудие подпрыгнуло, выплюнув огонь. Из головного «тигра» повалил дым.

Следующий снаряд подал командир взвода лейтенант Красноносков. Пригибаясь, бежал к орудью и старший лейтенант Ажиппо. Трое — это уже почти половина расчета!

Михаил снова торопливо вертел маховички, ловя прицелом следующий танк. Главное — бить наверняка, чтобы из танка не успели понять, откуда стреляют. Весь накопленный опыт, и ярость, и обретенная в боях вера в себя, и подспудное ощущение того, что позади кто-то, кого нужно защитить, — все это делало движения Михаила легкими и точными: еще не дернув шнур, он уже предчувствовал, и как посланный им снаряд вопьется в железное тело «тигра», и как плеснет оттуда огонь, и как повалит оттуда дым. И снаряд впивался, и выплескивался огонь, и вот еще семь железных коробок в придачу к восьми, подбитым батареей раньше, стояли, закрывая черным дымом небо над выжженной землей...

Оставшиеся «тигры» развернулись фронтом и, изрыгая пламя и железо, шли прямо на непонятно как уцелевшее орудие. Один танк гремел уже в каких-нибудь пятидесяти метрах от пушки, когда Михаил сделал последний выстрел. Танк остачовился, но из черного зрачка его орудия блеснуло пламя. Беззвучно расцвел у самой их пушки огненный куст — и все трое провалились в густую тьму...

Под Прохоровкой снова тишина,
Хотя хрилят распластанные танки.
И с каждым мигom явственней слышна
Здесь холгота вороньей перебранки.
Лежу ничком, сжимая кулаки,
И кажется, что прямо за спиною
Россия-мать глядит из-под руки
На то, что было нашей огневою.
И кое-как поднявшись во весь рост
И протерев глаза (от дыма, что ли?),
Я вместе с ней гляжу,
Как на погост,
На черное, истерзанное поле.

И здесь и там, доколь хватает глаз,
С моей судьбой навек неразделимы,
Лицом вперед,
Вдохнув последний раз,
Лежат мои мальчишки-побратимы...

Взять Прохоровку фашистам так и не удалось. А через несколько месяцев Михаил бежал из госпиталя, чтобы поскорее вернуться в свою часть. Добрался до своих — а ему, оказывается, звание Героя присвоили!

Не раз еще валили Михаила на землю пули, снаряды; не раз еще бегал он от врачей, чтобы не отстать от своих. Когда Берлин брали — на костылях удрал из госпиталя. Машины мчались в город в ослепляющем море света от прожекторов, и веселые напевы аккордеонов пытались спорить с орудийной канонадой. Дошел-таки до Берлина Миша Борисов из тихого алтайского городка!

Домой Михаил вернулся инвалидом. Но сидеть дома и проживать пенсию было не по нем. А что делать? Первой мыслью было пойти в медики.

Выяснилось, однако, что он совершенно не выносит вида крови. Тогда он поступил в юридический институт. Окончил, работал помощником прокурора. Но и тут выдержал недолго. Приходилось встречаться далеко не с самой лучшей публикой, а контузия все еще давала себя знать. Тогда Михаил поступил в строительный техникум. Так он стал строителем.

Стройка выпала ему солидная: Западносибирский металлургический комбинат. Это было как новая большая битва.

Радость созидания оказалась не слабее, чем та, которую приносила победа в бою. А принадлежность к цеху строителей будила теплую гордость не меньше, чем когда-то принадлежность к солдатскому братству.

И я тут свой.

И тут моя стихия!

До огоньков,
До чертиков в глазах,
Гляжу на то, как вся моя Россия
Хлопочет на строительных лесах.
Без передышки лесенкой крутою
Бегу наверх,
А сердце...

Ну и что ж!

И высота горит над головою
Давно знакомым лозунгом:

«Даешь!»

10 Альманах «Алтай» № 1